

САМЫЕ  
ЗНАМЕНИТЫЕ  
ПОЭТЫ  
РОССИИ



# Геннадий Мартович Прашкевич

## Самые знаменитые поэты России

*предоставлено автором*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=164660](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164660)

### **Аннотация**

В новую книгу серии «Самые знаменитые» вошли жизнеописания самых выдающихся поэтов России, начиная от Ломоносова и Державина и заканчивая Рубцовым и Бродским. Автор книги – писатель и поэт Г. Прашкевич размышляет о тайнах поэтического творчества, судьбах великих поэтов России.

# Содержание

Предисловие	4
Михаил Васильевич Ломоносов	7
Гавриил Романович Державин	21
Иван Андреевич Крылов	33
Василий Андреевич Жуковский	46
Александр Сергеевич Пушкин	56
Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский)	77
Михаил Юрьевич Лермонтов	83
Конец ознакомительного фрагмента.	89

# Геннадий Прашкевич

## Самые знаменитые поэты России

### Предисловие

Очерки данной книги охватывают два с половиной века русской поэзии. Понятно, здесь не анализируется ее развитие (на это существуют специальные работы), здесь определяются основные направления и обрисовываются фигуры, вызывавшие и продолжающие вызывать интерес читателей. Принцип обрисовки прост: свидетельства современников, прежде всего, и лишь во вторую очередь – свидетельства более поздних биографов. Только в такой смене можно различить живое выражение лиц. «Илья Садофьев, вы меня считаете белым, я считаю вас красным, – сказал в двадцать втором году Виктор Шкловский в ответ на политические обвинения Садофьева. – Но мы оба русские писатели. У нас у обоих не было бумаги для печатания книг. Это кажется, Вам кажется, что мы враги, на самом деле мы погибаем вместе». Уверен, что такое прямое свидетельство дает для обрисовки характера больше, чем любой сухой литературоведческий очерк.

Планировалось начать книгу с Василия Тредиаковского, русского поэта, в 1723 году тайком бежавшего из школы монахов-капуцинов в Славяно-греко-латинскую академию, а затем и дальше – за границу. В Голландии он обучался языкам и знакомился с западной литературой, в Париже слушал математические и философские лекции. В Россию вернулся в 1730 году – образованным человеком, но только после издания модного переводного романа «Езда в остров любви» (к переводу которого он приложил собственные стихи) получил место переводчика в Академии наук. Собственно, с Тредиаковского начинается светская лирика, а с его работы «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) – языковая реформа, в которой остро нуждалась русская поэзия. Вместо неуклюжих силлабических виршей явились стихи гармоничные, легкие, совершенно не представимые до Тредиаковского:

*Часто днями ходит при овине,  
при скирдах, то инде, то при льне;  
то пролазов смотрит нет ли в тыне  
и что делается на гумне...*

Собственно, говоря, из Тредиаковского вышли все поэты России.

Другое дело, что по-настоящему раскованным языком, полным прелести и гармонии, охватывающем все порядки, впервые заговорил Ломоносов, – именно его и помнят чита-

тели.

Выбор поэтических имен вообще не может не вызывать вопросов, но это естественно: никакой выбор не может быть идеальным уже по той простой причине, что список знаменитых (когда-то или теперь) русских поэтов обширен, а рамки данной книги ограничены. Все же думается, что по очеркам, вошедшим в книгу, можно составить некое первое впечатление о силе и притягательности русской поэзии, о характере ее творцов. Автор сам поэт, поэтому он старался не давать никаких прямых оценок, уверенный в том, что читатели сами определятся в изумительном разнообразии русской поэзии. Безмерно благодарен автор Л. Г. Киселевой – за подборку материалов и критические взгляды на текст.

Не следует думать, что книга закончена.

Не Тарковским и не Бродским заканчивается русская поэзия – просто эти имена завершают определенную эпоху, которая затем продолжилась в поэзии «шестидесятниках» и всех поэтах, следующих за ними.

Но это уже – материал другой книги.

# Михаил Васильевич Ломоносов

*С высот надзвездной Музикии  
к нам ангелами занесен,  
он крепче всех твердьнь России,  
славнее всех ее знамен.  
Из памяти изгрызли годы,  
за что и кто в Хотине пал, —  
но первый звук Хотинской оды  
нам первым криком жизни стал.*

**В. Ходасевич**

Родился 8 (19) ноября 1711 года в деревне Мишанинской близ Холмогор.

Отец имел собственное судно – двухмачтовый «новоматерный гукор» «Святой Архангел Гавриил», прозванный за быстрый ход «чайкой», рыбачил в Белом море и даже в Ледовитом океане. Сын не раз сопровождал его в плаваниях.

Грамоте научился у односельчанина Ивана Шубного и дьячка Семена Никитича Сабельникова. Занятиям этим сильно мешала мачеха. «Имеючи отца, – с горечью писал Ломоносов, – по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя (ему), что я всегда сижу попусту за книгами, принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уеди-

ненных и пустых местах». Все же Ломоносов самостоятельно изучил «Арифметику» Леонтия Магницкого (которую всегда с уважением называл Вратами учености) и «Славянскую грамматику» Мелетия Смотрицкого – лучшие по тем временам учебные пособия. Все же путь в учебные заведения был для Ломоносова закрыт – в ближайших к деревне Мишанинской Холмогорах знали его простое происхождение. Тайком от родителей выправив паспорт, плечистый парень в декабре 1730 года с обозом мороженой рыбы ушел в Москву. «Дома между тем долго его искали и, не найдя нигде, почитали пропавшим, до возвращения обоза по последнему санному пути».

В январе 1731 года обманным образом Ломоносов поступил в московскую Славяно-греко-латинскую академию: на собеседовании с ректором Г. Копцевичем назвался сыном дворянина. Надо заметить, что Ломоносов и в дальнейшем не пренебрегал подобными методами. Решив, например, пристать к экспедиции, направлявшейся к Аральскому морю, он назвался сыном священнослужителя («отец у меня – города Холмогор церкви Введения Пресвятыя богородицы поп Василей Ломоносов»). Лишь когда Ставленнический стол Академии, засомневавшись, решил проверить представленные сведения в Камер-коллегии, Ломоносов признался, что он – всего лишь крестьянский сын, а поповичем сказался с простоты своей.

Славяно-греко-латинская академия готовила молодых

людей к государственной и церковной службе. Кроме обязательного богословия, в академии обучали древним языкам, риторике, пиитике, философии. Ломоносов превосходно учился: за пять лет прошел курс, рассчитанный на восемь. Однако, было это не просто. «Школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: смотри-де какой болван в лет двадцать пришел латыни учиться! – жаловался Ломоносов. – Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления... Имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и на другие нужды...»

Ломоносову и впредь не раз пришлось жестко экономить на всем.

Он, например, самолично лил из охотничьей дроби свинцовые палочки, которыми в то время писали, а бывало, и перо драл тайком с чужих гусей – для тех же целей. Характер у него был вспыльчивый и горячий, нетерпимость к невежеству («к любой дурости», как он говорил) сильно усложняли его жизнь. Когда немец историк А. Шлецер в одной из своих работ написал, что «...все, до сих пор в России напечатанное, ощутительно дурно, недостаточно и неверно», Ломоносов, оценивая эту работу, заметил со всей присущей ему прямоотой: «...Из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина». На заседаниях российской Ака-

демии наук случались порой самые настоящие баталии, отнюдь не просто словесные. После одной такой баталии Ломоносов был даже взят под стражу и восемь месяцев провел под строгим домашним арестом. Как раз в эти месяцы со-здал он «Краткое руководство к риторике» – ученый труд, предназначенный широкому кругу читателей, и впервые написанный на русском, а не на латинском языке.

Но это позже...

А в начале 1736 года в числе нескольких лучших учеников Ломоносов был переведен в Университет при Петербургской академии наук. Академия готовила несколько крупных экспедиций в Сибирь, требовались ученые люди, сведущие в горном деле и в химии. По этой причине с Дмитрием Виноградовым (будущим изобретателем русского фарфора) и Густавом Рейзером Ломоносова отправили за границу, где в течение трех лет русские студенты обучались в Марбургском университете (Германия) под руководством известного ученого Христиана Вольфа. С собою Ломоносов взял купленный перед отъездом трактат русского поэта Тредиаковского – «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий». К занятиям у Вольфа книга не имела никакого отношения, зато прибавила Ломоносову желания заняться стихотворчеством, русским поэтическим языком. Повезло русскому студенту и в том, что его учитель Вольф умел обучать именно точным и нужным вещам, а не просто «аристотелиеву умению отве-

чать на любые, даже самые каверзные вопросы».

По окончании курса Ломоносова перевели во Фрейберг – учиться горному делу у бергсрата И. Генкеля. Впрочем, с бергсратом он быстро разругался. «Он презирал всю разумную философию, – писал позже Ломоносов, – и когда я однажды, по его приказанию, начал излагать причину химических явлений (не по его перипатетическому концепту, а на основе принципов механики и гидростатики), то он тотчас же велел мне замолчать, и с обычной своей наглостью поднял мои объяснения на смех, как пустую причуду». В мае 1740 года, никому ничего не сказав, обиженный Ломоносов налегке ушел из Фрейберга, прихватив с собой только точные пробирные весы. Скорее всего, весы ему не принадлежали. Беглый студент попытался разыскать русского посла в Саксонии, но этого не случилось: посол часто переезжал из города в город. Тогда Ломоносов пешком добрался до Лейпцига, а оттуда ушел в любезный его сердцу Марбург. Там, в июне 1740 года, он обвенчался с Елизаветой Цильх – дочерью пивовара, своего домохозяина. Скоро у него родилась дочь Екатерина-Елизавета.

Казалось, жизнь начинает обретать какие-то определенные рамки, но однажды, по уже сложившейся привычке, Ломоносов вновь, никому не сказавшись, вышел со двора и отправился в Голландию. Недалеко от Дюссельдорфа, польстившись на рост и силу странствующего студента, его пытались завербовать в гвардию прусские офицеры. Любивше-

го крепкое вино Ломоносова даже доставили в крепость Весель, но, проспавшись, он сбежал из крепости, преодолев для этого крепостные сооружения и заполненный водою широкий ров.

Так достиг он вестфальской границы, а затем Амстердама.

Только в июне 1741 года, после почти пятилетнего пребывания за границей, Ломоносов вернулся в Россию. В Петербурге поначалу он выполнял разные поручения: составлял каталог минералов Кунсткамеры, занимался переводами для газет. Но в январе 1742 года, после рассмотрения Конференцией Академии наук поданных им диссертаций (одна из них сохранилась – «Рассуждение о зажигательном катоптрикодиоптрическом инструменте»), он был назначен адъюнктом Академии по физическому классу, а в августе 1745 года – профессором (академиком) химии. «В бытность мою при Академии наук, – писал Ломоносов в одной из челобитных, поданных на имя императрицы Елизаветы, – трудился я довольно в переводах физических и механических и питеических с латинского, немецкого и французского языков на российский и сочинил на российском же языке горную книгу и риторику и сверх того в чтении славных авторов, в обучении назначенных ко мне студентов, в изобретении новых химических опытов, сколько за неимением лаборатории быть может, и в сочинений новых диссертаций с возможным прилежанием упражняюсь».

Из Марбурга в Петербург приехала Елизавета Цильх с до-

черью.

Несколько остепенившийся Ломоносов добился того, что в 1748 году была построена на Васильевском острове химическая лаборатория. Благодаря изготовленным им окрашенным мозаичным стеклам, очень понравившимся императрице, Ломоносов в 1753 году получил в свое полное владение поместье в Усть-Рудицах – в 64 верстах от Петербурга. Там он устроил настоящую фабрику, которая производила мозаичное стекло самых необыкновенных расцветок. Из этого стекла, кстати, создана знаменитая мозаичная картина «Полтавская баталия». Уникальная по размерам – 30 кв. м. – картина действительно является художественным созданием и ни в чем не уступает выдающимся образцам итальянских мозаик.

Академические заслуги Ломоносова сейчас общеизвестны: химию из ремесла он поднял до уровня точной науки; предложил корпускулярную теорию и атомистические представления о строении вещества; первый сформулировал закон сохранения вещества и движения; создал различные приборы для химических исследований; организовал исправление географических карт, даже составил в 1763 году «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Наблюдая в мае 1761 года прохождение тени планеты Венеры по солнечному диску, он высказал предположение, что на Венере существует атмосфера, по-

добная земной. На Венере, писал Ломоносов, как и на Земле, «... пары восходят, сгущаются облака, падают дожди, протекают ручьи, собираются в реки, реки втекают в моря, произрастают везде разные прозябения, ими питаются животные».

К поэзии Ломоносов обратился еще в Славяно-греко-латинской академии: там молодых людей учили вести рассуждения на заданные темы в рифмованных строках, – это считалось важным признаком образованности. Русская словесность только еще выходила из-под церковной зависимости. Появление женщин на ассамблеях и празднествах, разрешенное Петром I, вызвало к жизни первые образцы настоящей любовной лирики. *«Вся кипящая похоть в лице его зрелась; как уголь горящий все оно краснело. Руки ей давил, щупал и все тело. А неверна о всем том весьма веселилась!»* – уже и так осмеливались писать поэты.

Ломоносов решительно поддержал реформу русского поэтического языка, начатую Тредиаковским. Еще в 1739 году, посылая в Петербург оду «На взятие Хотина», он приложил к рукописи сочиненное им «Письмо о правилах российского стихотворства». Все стихотворные произведения устного творчества связаны прежде всего с напевом, утверждал Ломоносов, а их система – тоническая. Именно такие гармонические стихи всегда жили и распространялись в народе, к сожалению, почти не проникая в письменную литературу. В письменной литературе с давних пор утвердилась пришедшая с запада, прежде всего из Польши, система стихосложе-

ния, основанная не на ритме ударений, а на равном количестве слогов в каждой стихотворной строке, так называемая – силлабическая. Каждая пара строк в этой системе связывалась рифмой, причем обязательно женской, потому что ударным оказывался предпоследний слог каждой строки. А в русском языке ударение не закреплено на определенном месте слова, как в польском (на предпоследнем слоге), или во французском (на последнем). Силлабические правила поэтики чрезвычайно ограничивали возможности русского стиха.

«В 1743 году Тредиаковский, Ломоносов и Сумароков, – писал А. Морозов, один из биографов Ломоносова, – согласились испытать свои силы в „переложении“ 143-го псалма, чтобы на деле доказать справедливость своих мнений. Результаты состязаний были опубликованы в следующем году отдельной книжкой, без указаний имен поэтов. В предисловии, написанном Тредиаковским, с гордостью подчеркивалось, что „российские стихи“ ныне являются „в совершеннейшем виде и с приятнейшим слуху стоп падением, нежели как старые бесстопные были“. Эту заслугу Тредиаковский, разумеется, приписывал себе. Но он теперь уже не настаивал на особых достоинствах и преимуществах хореев перед ямбом (как делал прежде), а утверждал, что „некоторая из сих стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности“. Все зависит от характера изображения, „так что и ямбом состоящий стих равно изобразит слаткую нежность,

когда нежные слова приберутся, и хореем высшее благородство, ежели стихотворец употребит высокие и благородные речи“. Третьяковский сообщал, что другой поэт (это был Ломоносов) настаивает на преимуществах ямба и утверждает, что эта стопа „высокое сама собою имеет благородство, для того что она возносится снизу вверх, от чего всякому чувствительно слышна высота ее и великолепие, и что, следовательно, всякой героический стих, которым обыкновенно благородная и высокая материя поется, долженствует состоять сею стопою; а хорей, с природы нежность и приятную сладость имеющий сам же собою“, по его мнению, „должен токмо составлять элегический род стихотворения и другие подобные, которые нежных и мягких требуют описаний“.

Сумароков разделял мнение Ломоносова. Однако, в этом теоретическом споре более прав оказался Третьяковский. Стихотворный размер сам по себе еще не определяет ни жанровую пригодность, ни эмоциональный фон произведения, хотя в отдельных литературах возникает традиция восприятия ямба и хорей, определяющая тяготение к ним различных жанров. Свое переложение псалма Ломоносов писал под домашним арестом – после очередной стычки с академическим начальством, в то время почти сплошь состоявшем из немцев. Его Песнопевец, обращаясь к Богу, восклицал:

*Меня объял чужой народ,  
В пучине я погряз глубокой,*

*Ты с тверди длань простри высокой,  
Спаси меня от многих вод...  
Избавь меня от хищных рук  
И от чужих народов власти,  
Их речь полна тщеты, напасти,  
Рука их в нас наводит лук...*

Несколько мягче звучало ямбическое переложение Сумарокова:

*Простри с небес свою зеницу,  
Избавь мя от врагов моих;  
Поддай мне крепкую десницу,  
Изми мя от сынов чужих,  
Разрушь бунтующи народы,  
И станут брань творящи воды...*

Что же касается Тредиаковского, то, конечно, он выполнил свое переложение хореем:

*На защиту мне смиренну  
Руку сам простри с высот,  
От врагов же толь презренну,  
По великости щедрот,  
Даруй способ. И избавлюсь;  
Вознеси рог, и прославлюсь:  
Род чужих, как буйн вод шум,  
Быстро с воплем набегает,  
Помощь он мою ругает*

*И приемлет в баснь и глум...*

Императрица Елизавета и ее двор мало интересовались научными работами Ломоносова, однако оды поэта нравились. За одну из них Ломоносов получил от императрицы единовременно 2000 рублей, – сумму большую, чем его трехлетнее жалованье в Академии наук (600 рублей в год). Торжественные оды Ломоносова привлекали внимание живостью, звонкостью, свежестью метафор, обращением к реальным вещам, что, собственно, и делало их явлением. Странно, что Валерий Брюсов, обосновывая в начале XX века «научную поэзию», обратился к вполне второстепенному французскому поэту Рене Гилю, а не к чеканным стихам Ломоносова, до сих пор сохраняющим эмоциональную силу.

*«Лицо свое скрывает день; поля покрыла мрачна ночь;  
взошла на горы чорна тень; лучи от нас склонились прочь;  
открылась бездна звезд полна; звездам числа нет, бездне  
дна...*

*Уста премудрых нам гласят: там разных множество  
светов; несчетны солнца там горят, народы там и круг ве-  
ков: для общей славы божества там равна сила естества...*

*Что зыблет ясный ночью луч? Что тонкий пламень в  
твердь разит? Как молния без грозных туч стремится от  
земли в зенит? Как может быть, чтоб мерзлый пар среди  
зимы рождал пожар?».*

В 1755 году по инициативе Ломоносова был основан пер-

вый в России Московский университет. Заслужой Ломоносова можно считать то, что в университете никогда не читалось богословие, – с самого начала он стал центром именно науки.

В 1757 году Ломоносов получил место советника канцелярии Академии наук, а в 1758 году – смотрителя Географического департамента, а также Исторического собрания, университета и гимназии при Академии наук. В эти годы Ломоносов создал свое учение о «трех штилях» – новую теорию литературных жанров, изложив ее в работе «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке».

Три штиля – высокий, средний и низкий – отличаются, считал поэт, пропорцией старославянских и разговорных элементов: высокий штиль – насыщенностью книжных, обветшалых «речений»; средний штиль – смесью «речений» простонародных и старославянских (книжных); наконец, низкий штиль – естественной простотой речи. Понятно, что при таком отношении к языку его словарный состав несомненно начинал влиять на выбор литературных жанров. Высокий стиль, считал Ломоносов, должен помогать написанию героических поэм, торжественных од, речей о важных материях; средний стиль – сочинений для театра, стихотворных дружеских писем и посланий, сатир, эклог, элегий; низкий – комедий, эпиграмм, песен, описаний обыкновенных дел; в низком стиле не могут употребляться старославянские выражения, здесь широко используются обыкновенные простонародные слова. Скажем, вместо *глас* – *голос*, вместо *хлад*

– *холод*, и так далее. Казалось бы, разница небольшая, но она разительно меняла интонацию стихов, их эмоциональное насыщение.

С годами Ломоносов тучнел, здоровье его убывало. Но все с той же энергией вел он борьбу за истинно русский язык. «За то терплю, – с горечью писал он незадолго до смерти, – что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились Россияне, чтобы показали свое достоинство».

Умер, простудившись, 4 апреля 1765 года.

# Гавриил Романович Державин

*Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы.*

Родился 3 (14) июля 1743 года в деревне Кармачи Казанской губернии.

Потомок татарского мурзы Багрима, выселившегося в XV веке из Большой Орды. Отец был офицером. Выйдя в отставку, приобрел небольшой участок под Казанью. «Имел за собою по разделу с пятерыми братьями крестьян только 10 душ, а мать – 50. При всем сем недостатке были благонравные и добродетельные люди».

В 1757 году Державин поступил в Казанскую гимназию.

Учился хорошо, но закончить гимназию ему не удалось: в феврале 1762 года его вызвали в Петербург и определили в гвардейский Преображенский полк. Службу начал простым солдатом и прослужил десять лет. Известно, что первые стихи Державина были обращены к некоей солдатской дочери

Наташе. Вместе с полком участвовал в дворцовом перевороте, приведшем на престол императрицу Екатерину II. Горячий от природы, вел жизнь, которую трудно назвать пристойной – участвовал в шумных пирушках, не бежал от карт. Однако в 1767 году, при создании Комиссии по составлению «Нового уложения», Державин, как человек грамотный, был привлечен к ведению письменных дел.

В 1773 году впервые выступил в печати (с переводом и оригинальным стихотворением) в сборнике «Старина и новизна». Осенью того же года Державина прикомандировали к секретной Следственной комиссии; в течение года он находился в войсках, действовавших против Пугачева. В записях А. С. Пушкин сохранилась такая: «(Слышал от сенатора Баранова). Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками, узнал, что множество народу собралось и намерены идти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина (впоследствии богача) изъяснения, зачем собрался народ и по чьему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Федоровичем – и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось. Державин уверил их, что за ним идут три полка. Дмитриев уверял, – добавил Пушкин в приписке, – что Державин повесил их из поэтического любопытства».

В 1776 году вышел сборник стихов Державина – «Оды, пе-

реведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года». В феврале следующего года поэт перевелся в статскую службу с чином коллежского советника, а в апреле 1778 года женился на Екатерине Яковлевне Бастидон, которую дома непременно всегда называл только Пленирой.

До Державина русская поэзия все еще оставалась достаточно условной. Он смело и необыкновенно расширил ее темы – от торжественной оды до самой простой песни. Впервые в российской поэзии появился образ автора, личность самого поэта. В основе искусства лежит высокая истина, считал Державин, разъяснить которую может только поэт. Искусство должно подражать природе, только тогда можно приблизиться к истинному постижению мира, к истинному изучению людей, к исправлению их нравов.

В 1783 году в журнале «Собеседник любителей русского слова» была напечатана «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице, писанная татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санкт-Петербурге». Это сочинение Державина чрезвычайно понравилось императрице. Счастливый и благодарный поэт писал княгине Дашковой, обратившей внимание императрицы на оду: «Сиятельнейшая княгиня, милостивая государыня. Вчера после полудня, часу в девятом, в доме князя Александра Алексеевича получил я в пакете, подписанном на мое имя из Оренбурга, золотую табакерку, осыпанную бриллиантами, и 500 червонных, всего, думаю, тысячи

на три рублей. Приказчик мой тамошней деревни моей никогда не был столько щедр. Я догадываюсь, что, конечно, из того края премудрая Фелица, по соседству, своему мурзе послала сей драгоценный дар, но мне попался ошибкою. Как бы то ни было, я принял с радостным замешательством и восторга моего скрыть не мог; я рассказал всем случившимся мои чувствования как в рассуждении царевны, так и вас, милостивая государыня, предстательством которой, как я думаю, получаю я столь великое и неожиданное награждение за мои слабые дарования...» Известно, что на приеме Екатерина II, выслушав оду «На взятие Измаила», ласково заметила Державину: «Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна».

В мае 1784 года Державин был назначен правителем Олонецкой губернии, а в декабре 1785 года его перевели на ту же должность в Тамбовскую губернию. Там не умеющий не наживать врагов поэт попал в 1788 году под суд – за превышение власти. После долгого разбирательства его все же оправдали. «Дело мое кончено, – писал Державин В. В. Капнисту. – Гудович дурак, а я умен. Ее императорское величество всемилостивейшая государыня с особливым вниманием изволила рассмотреть доклад 6-го департамента о моих проступках, о которых Гудович доносил, и приказала мне через статс-секретаря объявить свое благоволение точно сими словами: „Когда и Сенат уже его оправдал, то могу ли я в чем обвинить автора „Фелицы“? – вследствие чего дело повелела

считать решенным, а меня представить. Почему я в Сарском Селе и был представлен; оказано мне отличное благоволение; когда пожаловала руку, то окружающим сказала: „Этой мой собственный автор, которого притесняли“. А потом, как сказывали, чего я однако же не утверждаю, во внутренних покоях продолжать изволила, что она желала бы иметь людей более с таковыми расположениями, и оставлен был я в тот день обедать в присутствии Ее величества. Политики предзнаменуют для меня нечто хорошее; но я все слушаю равнодушно, а поверю только тому, что действительно сбудется. Посмотрим, чем вознаграждена будет пострадавшая невинность...“

Пострадавшая невинность вознаграждена была в 1791 местом кабинет-секретаря Екатерины II, где поэт сильно документировал императрице своим усердием. В конце концов Державину подыскали не хлопотную должность сенатора.

«XVIII век, – писал поэт В. Ходасевич, один из лучших биографов Державина, – особенно его петровское начало и екатерининское завершение, был в России веком созидательным и победным. Державин был одним из сподвижников Екатерины не только в насаждении просвещения, но и в области устройства государственного. Во дни Екатерины эти две области были связаны между собою теснее, чем когда бы то ни было, всякая культурная деятельность, в том числе поэтическая, являлась *прямым* участием в созидании государства. Необходимо было не только вылепить внешние фор-

мы России, но и вдохнуть в них живой дух культуры. Державин-поэт был таким же непосредственным строителем России, как и Державин-администратор. Поэтому можно сказать, что его стихи суть вовсе не *документ* эпохи, не отражение ее, а некая реальная часть ее содержания; не время Державина *отразилось* в его стихах, а сами они, в числе иных факторов, *создали* это время. В те дни победные пушки согласно перекликались с победными стихами. Державин был мирным бойцом, Суворов – военным. Делали они одно общее дело, иногда, впрочем, меняясь оружием. Вряд ли многим известно, что не только Державин Суворову, но и Суворов Державину посвящал стихи. Зато и Державин одно время воевал с Пугачевым. И, пожалуй, разница между победами одного и творческими достижениями другого – меньше, чем кажется с первого взгляда».

Впрочем, и сам Державин смотрел на поэзию, на свой талант, прежде всего, как на некое орудие, данное ему свыше для политических битв. Он даже составил особый «ключ» к своим работам – подробный комментарий, указывающий, какие именно события привели к созданию того или иного произведения.

В июле 1794 года умерла первая жена Державина.

«Не могли быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он генваря 31-го дня 1795 года на другой жене, девице Дарье Алексеевне Дьяковой (которую в до-

ме с нежностью называл Милена), – в третьем лице писал о себе Державин. – Он избрал ее, так же как и первую, не по богатству и не по каким-либо светским расчетам, но по уважению ее разума и добродетелей, которые узнал гораздо прежде, чем на ней женился».

В 1797 году Державин приобрел имение Званка, где ежегодно проводил по несколько месяцев. В следующем году вышел в свет первый том его сочинений, в который вошли такие обессмертившие его имя стихи, как «На рождение порфирородного отрока», «На смерть кн. Мещерского», «Ключ», оды «Бог», «На взятие Измаила», «Вельможа», «Водопад», «Снегирь». При императоре Павле I поэта назначили государственным казначеем, но с Павлом он не поладил, так как по сформировавшейся у него привычке при своих докладах часто грубил и ругался. «Пооди назад в Сенат, – однажды накричал на него император, – и сиди у меня там смиренно, а не то я тебя проучу!» Пораженный гневом Павла I, Державин лишь вымолвил: «Ждите, будет от этого царя толк». Александр I, сменивший Павла, тоже не оставил Державина без внимания – назначил его министром юстиции. Но через год освободил: «слишком ревностно служит».

Выйдя в отставку, Державин практически полностью посвятил себя драматургии – сочинил несколько либретто опер, трагедии «Ирод и Мариамна», «Евпраксия», «Темный». С 1807 года активно участвовал в собраниях литературного кружка, позднее составившего известное общество

«Беседа любителей русского слова». Работал над «Рассуждением о лирической поэзии или об оде», в которой обобщил свой собственный литературный опыт.

«Почти всякий раз, как я бывал у Державина, – вспоминал писатель С. Т. Аксаков, – я упрасивал его выслушать что-нибудь из его прежних стихов, на что он не всегда охотно соглашался. Я прибегал к разным хитростям: предлагал какое-нибудь сомнение, притворялся не понимающим некоторых намеков, лгал на себя или на других, будто бы считающих такие-то стихотворения самыми лучшими, или, напротив, самыми слабыми, иногда читал его стихи наизусть в подтверждение собственных мыслей, нравственных убеждений или сочувствия к красотам природы. Гаврила Романыч легко поддавался такому невинному обману и вступал иногда в горячий спор, но редко удавалось мне возбудить в нем такое сильное чувство чтением прежних его стихов, какое обнаружил он в первое наше свиданье, слушая оду к Перфильеву. По большей части по окончании чтения он с улыбкой говорил: „Ну да, это недурно, есть огонь, да ведь это пустяки; все это так, около себя, и важного значения для потомства не имеет; все это скоро забудут; но мои трагедии, но мои антологические пиесы будут оценены и будут жить“. Безгранично предаваясь пылу молодого восторга при чтении его прежних пустяков, я уже не мог воспламеняться до самозабвения, читая его новейшие сочинения, как это случилось со мной при чтении „Ирода и Мариамны“. Державин это чувствовал,

хотя я старался по возможности обмануть его поддельным жаром и громом пышной декламации: он досадовал и огорчался. „У вас все оды в голове, – говорил он, – вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию вы не всегда и не всю понимаете“. Иногда, впрочем, он бывал доволен мною...

Державин любил также так называемую тогда *эротическую поэзию* и щеголял в ней мягкостью языка и исключением слов с буквою *р*. Он написал в этом роде много стихотворений, вероятно втрое более, чем их напечатано; все они, лишённые прежнего огня, заменённого иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление. Но Державин любил слушать их и любил, чтоб слушали другие, особенно дамы. В первый раз я очень смутился, когда он приказал мне прочесть, в присутствии молодых девиц, любимую свою пиесу «Аристиппова баня», которая была впоследствии напечатана, но с исключениями. Я остановился и сказал: «Не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?» – «Ничего, – возразил, смеясь, Гаврила Романыч, – у девушек уши золотом завешены».

Благородный и прямой характер Державина, – писал далее Аксаков, – был так открыт, так определен, так известен, что в нем никто не ошибался; все, кто писали о нем, – писали очень верно. Можно себе представить, что в молодости его горячность и вспыльчивость были еще сильнее и что живость вовлекала его часто в опрометчивые речи и

неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не научился еще, несмотря на семидесятитрехлетнюю опытность, владеть своими чувствами и скрывать от других сердечное волнение. Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава; и я думаю, что она много наделала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение – он приходил в нетерпение и управлялся уже с языком без всякого уважения: гнул на колено синтаксис, словоударение и самое словоупотребление. Он показывал мне, как исправил негладкие, шероховатые выражения в прежних своих сочинениях, приготовляемых им для будущего издания. Положительно могу сказать, что исправляемое было несравненно хуже неисправленного, а неправильности заменялись еще большими неправильностями. Я приписываю такую неудачу в поправках единственно нетерпеливому нраву Державина».

Известна и запись Пушкина, посвященная встрече с Державиным.

«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не позабуду. Это было в 1815 году. Как узнали мы, что Державин будет к нам (в Царскосельский лицей), все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дожидаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую „Водопад“. Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот про-

заический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и в халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои „Воспоминания в Царском Селе“, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...»

Впрочем, в те годы Пушкин уже считал Державина поэтом прошлого.

В 1925 году он писал А. А. Дельвигу: «По твоём отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка – (вот почему он и ниже Ломоносова), – он не имел

понятия ни о слоге, ни о гармонии – ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы. Читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски – а русской грамоты не знал за недосугом. – И дальше: – Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем (не говоря уж о его мастерстве). У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Жаль, что наш поэт, как Суворов, слишком часто кричал петухом». Но, разумеется, это слова гения, сказанные больше для самого себя.

Умер Державин 8 (20) 1816 года в селе Званка Новгородской губернии.

Похоронен в Петербурге.

# Иван Андреевич Крылов

Родился 2 (13) февраля 1769 года в Москве.

«Отец Крылова (капитан) – указывал Пушкин в записях к „Истории Пугачева“ – был при Симанове в *Яицком городке*. Его твердость и благоразумие имели большое влияние на тамошние дела и сильно помогли Симанову, который вначале было струсил. Иван Андреевич находился тогда с матерью в Оренбурге. На их двор упало несколько ядер, он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его матерью (и то тихонько) 25 р.! Так как чин капитана в Яицкой крепости был замечен, то найдено было в бумагах Пугачева в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном».

В 1774 году отец будущего поэта вышел в отставку и поселился в Твери, где занял должность председателя губернского магистрата. После его смерти мать, впавшая в нужду и подрабатывавшая услугами в богатых домах, упростила местное начальство принять девятилетнего сына, получившего домашнее образование, на службу – переписывать деловые бумаги. А в 1782 году, переехав с матерью в Петербург, Крылов уже сам поступил канцеляристом в Казенную палату. В Петербурге он увлекся театром, в котором ставились пьесы Фонвизина, Княжнина, Сумарокова. Близко познакомился с актерами И. Дмитриевским и П. Плавильщиковым, с дирек-

тором театров генерал-майором П. А. Соймоновым. Сам в 1783 году написал комическую оперу в стихах «Кофейница», не попавшую, впрочем, ни в печать, ни на сцену.

Следующим сочинением Крылова стала трагедия «Клеопатра».

«Клеопатра» тоже не была ни напечатана, ни поставлена, а Дмитревский отнесся к трагедии столь сурово, что Крылов понял: тратить время на ее переделку не стоит. Успех пьесы в то время в огромной степени зависел от общественного положения автора: безвестный разночинец Крылов никак не мог так вот сразу войти в круг признанных авторов. «Постоянная нехватка средств и наличие огня в крови», как заметил писатель В. Петров, привели к тому, что в 1788 году Крылов в сатире-памфлете «Проказники» столь резко высказался в адрес своих обидчиков, что Княжнин и Соймонов попросту порвали с ним всякие отношения. Первые басни, напечатанные Крыловым в 1788 году в журнале «Утренние часы», тоже прошли совершенно незамеченными. Тогда Крылов решил издавать журнал.

В 1789 году вышел в свет первый номер «Почты духов». Это был, можно сказать, журнал одного автора. Все его страницы занимала философическая переписка духов воздушных, водяных и подземных с арабским мудрецом Маликульмульком. «Чем более живу я между людьми, – указывал Маликульмульку гном Зора, – тем больше кажется мне, будто я окружен бесчисленным множеством кукол, которых самая

малая причина заставляет прыгать, кричать, смеяться. Никто не делает ничего по своей воле, но все как будто на пружинах». При таком слишком уж конкретном подходе «Почта духов» не могла долго просуществовать и скоро была закрыта цензурой. Тогда с 1792 года начал выходить новый журнал – «Зритель», издаваемый уже не одним Крыловым, а литературным кружком, в который вошли А. И. Клушин, И. А. Дмитриев и П. А. Плавильщиков. В программной статье «Нечто о врожденном свойстве душ российских» с возмущением говорилось о давнем дворянском космополитизме, против которого и был поведен огонь. Впрочем, уже в мае 1792 года «Зритель» тоже был закрыт. Такая же судьба постигла и основанный Крыловым (в компании с Клушиным) журнал «Санкт-Петербургский Меркурий».

На некоторое время Крылов отошел от литературных дел. Средства для существования начала приносить ему карточная игра, в которой он оказался величайшим и дерзким мастером (а говорят, и фокусником). Гастроли Крылова запомнили в Москве, в Нижнем Новгороде, в Ярославле, в Тамбове, в Киеве, в Могилеве, в Серпухове, в Туле. В конце концов, карты, наверное, его и сгубили бы, но в начале 1797 года он близко подружился с князем С. Ф. Голицыным. Князь предложил Крылову занять место его личного секретаря и домашнего учителя. Теперь Крылов много времени проводил в имении князя – селе Казацком Киевской губернии. Владея несколькими языками, он обучал сыновей кня-

зя языкам и словесности, играл на музыкальных инструментах. Специально для домашнего театра Голицыных Крылов написал шутовскую трагедию «Трумф, или Подщипа» и сам сыграл в ней роль Трумфа – наглого немецкого принца.

11 марта 1801 года в России произошел дворцовый переворот: император Павел I был задушен, на престол вступил Александр I. Князь Голицын, пользовавшийся доверием нового царя, был назначен лифляндским генерал-губернатором, а его секретарь произведен в правители канцелярии. Два года Крылов прослужил в Риге, а осенью 1803 года переехал в Серпухов к своему брату Льву Андреевичу – офицеру Орловского мушкетерского полка. Тогда же в Петербурге впервые была поставлена на сцене пьеса Крылова – «Пирог». Этот успех позволил Крылову вернуться к литературе. Появились его пьесы «Модная лавка», «Лентяй», а дружба с баснописцем Дмитриевым подтолкнула его к переводу некоторых басен Лафонтена. В конце концов, Крылов вернулся в Петербург и навсегда в нем обосновался, сняв квартиру в доме А. Н. Оленина.

«Крылов, – вспоминал один из друзей поэта, – был высокого роста, весьма тучный, с седыми, всегда растрепанными волосами; одевался он крайне неряшливо: сюртук носил постоянно запачканный, залитый чем-нибудь, жилет надет был вкривь и вкось. Жил Крылов довольно грязно. Все это крайне не нравилось Олениным, особенно Елисавете Марковне и Варваре Алексеевне. Они делали некоторые попыт-

ки улучшить в этом отношении житье-бытье Ивана Андреевича, но такие попытки ни к чему не приводили. Однажды Крылов собирался на придворный маскарад и спрашивал совета у Елисаветы Марковны и ее дочерей; Варвара Алексеевна по этому случаю сказала ему: „Вы, Иван Андреевич, вымойтесь да причешитесь, и вас никто не узнает“.

В 1809 году вышел в свет первый сборник басен Крылова, сразу принесший ему известность. В 1811 году появились «Новые басни Ивана Крылова», в 1815 году – «Басни Ивана Крылова» в трех частях, в 1816 году – «Новые басни И. А. Крылова», составившие четвертую и пятую части, в 1819 году – в шести частях, в 1825 году – в семи, а в 1830 году – уже в восьми.

«В „Беседе ревнителѣй русскаго слова“, бывшей в доме Державина, – вспоминал писатель М. Лобанов, близко знавший Крылова, – приготавливаясь к публичному чтению, просили его прочесть одну из его новых басен, которые были тогда лакомым блюдом всякаго литературнаго пира и угощения. Он обещал, но на предварительное чтение не явился, а приехал в Беседу во время самого чтения. И довольно поздно. Читали какую-то чрезвычайно длинную пьесу. Он сел за стол. Председатель отделения А. С. Хвостов вполголоса спрашивает у него: „Иван Андреевич, что, привезли?“ – „Привез“. – „Пожалуйте мне“. – „А вот ужо, после“. Длилось чтение, публика утомилась, начали скучать. Зевота овладевала многими. Наконец, дочитана пьеса. Тогда Иван Ан-

дреевич, руку в карман, вытащил измятый листок и начал: „Демьянова уха“ ... Содержание басни удивительным образом соответствовало обстоятельствам, и приноровление было так ловко, так кстати, что публика громким хохотом от всей души наградила автора за басню». Напомним, что речь в «Демьяновой ухе» идет о безмерном угощении, выдержать которое не всякий способен.

В 1812 году в Петербурге открылась Публичная библиотека. Директором ее назначили Оленина, а Крылов получил должность помощника при В. Сопикове – первом русском библиографе. В Публичной библиотеке Крылов прослужил около тридцати лет, до самой своей отставки, последовавшей в 1841 году. «Все видели и знали в нем только литератора, – писал о Крылове барон М. А. Корф, – но этого *только* литератора уважали и чтили не менее знатного вельможи. Крылов был принят и взыскан в самом высшем обществе, и все сановники протягивали ему руку не с видом уничижительного снисхождения, а как бы люди, чего-нибудь в нем искавшие, хотя бы маленького отблеска его славы. Его столько же любили и в императорском доме, а у императрицы Марии Федоровны и у великого князя Михаила Павловича он был домашним человеком. Скромный и ровный в своем обращении со всеми, он никогда не зазнавался, но ему, думаю, простили бы даже и заносчивость».

В 1830 году, после выхода в свет басен в восьми книгах, император Николай I удвоил пенсию Крылова и произвел его

в статские советники, что приравнялось к генеральскому званию. «Царская семья благоволила к Крылову, – рассказывал один из друзей поэта, – и одно время он получал приглашения на маленькие обеды к императрице и великим князьям. Прощаясь с Крыловым после одного обеда у себя, дедушка (А. М. Тургенев) пошутил: „Боюсь, Иван Андреевич, что плохо мы вас накормили – избаловали вас царские повара“. Крылов, оглядываясь и убедившись, что никого нет вблизи, ответил: „Что царские повара! С обедов этих никогда сытым не возвращался. А я также прежде так думал – закормят во дворце. Первый раз поехал и соображаю: какой уж тут ужин – и прислугу отпустил. А вышло что? Убранство, сервировка – одна краса. Сели – суп подают: на доньшке зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны, да все так на мели и стоит, потому что супу-то самого только лужица. Ей-богу, пять ложек всего набрал. Сомнение взяло: быть может, нашего брата писателя лакеи обносят? Смотрю – нет, у всех такое же полноводье. А пирожки? – не больше грецкого ореха. Захватил я два, а камер-лакей уж удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу, и еще парочку снял. Тут вырвался он и двух рядом со мною обнес. Верно, отставать лакеям возбраняется. Рыба хорошая – форели; ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают, – куда меньше порционного! Да и что тут удивительного, когда все, что покрупней, торговцам спускают. Я сам у Каменного моста покупал. За рыбами пошли французские финтифлюшки. Как бы гор-

шочек опрокинутый, студнем облицованный, а внутри и зелень, и дичи кусочки, и трюфелей обрезочки – всякие остатки. На вкус недурно. Хочу второй горшочек взять, а блюдо уж далеко. Что же это, думаю, такое? Здесь только пробовать дают? Добрались до индейки. Не плошай, Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Подносят. Хотите верьте или нет – только ножки и крылушки, на маленькие кусочки обкромленные, рядышком лежат, а самая-то птица под ними припрятана, и нерезаная пребывает. Хороши молодчики! Взял я ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом. У всех по косточке на тарелке. Пустыня пустыней. И стало мне грустно-грустно, чуть слеза не прошибла. А тут вижу – царица-матушка печаль мою подметила и что-то главному лакею говорит и на меня указывает. И что же? Второй раз мне индейку поднесли. Низкий поклон я царице отвесил – ведь жалованная. Хочу брать, а птица так нерезанная и лежит. Нет, брат, шалишь – меня не проведешь: вот так нарежь и сюда принеси, говорю камер-лакею. Так вот фунтик питательного и получил. А все кругом смотрят – завидуют. А индейка-то совсем захудалая, благородной дородности никакой, жарили спозаранку и к обеду, изверги, подогрели! А сладкое! Стыдно сказать. Пол-апельсина! Нутро природное вынуто, а взамен желе с вареньем набито. Со злости с кожей я его и съел. Плохо царей наших кормят, – надувательство кругом. А вина льют без конца. Только что выпьешь, – смотришь, опять рюмка стоит полная. А почему?

Потому что придворная челядь потом их распивает. Вернулся я домой голодный-преголодный. Как быть? Прислугу отпустил, ничего не припасено. Пришлось в ресторацию ехать. А теперь, когда там обедать приходится, – ждет меня дома всегда ужин. Приедешь, выпьешь рюмочку водки, как будто вовсе не обедал“.

«Весь смысл жизни, все упоение ее, все блаженство, – писал В. В. Вересаев. – заключалось для Крылова в еде. Современница так описывает один из званых обедов, устраивавшихся Крылову его почитателями. Обедали в пять часов. Крылов появлялся аккуратно в половине пятого. Перед обедом он неизменно прочитывал две или три басни. Выходило у него прелестно. Приняв похвалы как нечто обыденное и должное, Крылов водворялся в кресло, – и все его внимание было обращено теперь на дверь в столовую. Появлялся человек и провозглашал: „Обед подан!“ Крылов быстро поднимался с легкостью, которой и ожидать нельзя было, оправлялся и становился у двери. Вид у него был решительный, как у человека, готового, наконец, приступить к работе. Скрепя сердце, пропускал вперед дам, первый следовал за ними и занимал свое место. Лакей-киргиз Емельян подвязывал Крылову салфетку под самый подбородок, вторую расстилал на коленях и становился позади его стула. На первое блюдо уха с расстегаями; ими всех обносили, но перед Крыловым стояла глубокая тарелка с горою расстегаяев. Он быстро с ними покончил и после третьей тарелки ухи обер-

нулся к буфету. Емельян поднес ему большое общее блюдо, на котором еще оставался запас. На второе подали огромные отбивные телячьи котлеты, еле умещались на тарелке, – не осилишь и половины. Крылов съел одну, потом другую; приостановился, окинул взором обедающих, потом произвел математический подсчет и решительно потянулся за третьей. Громадная жареная индейка вызвала у него восхищение. „Жар-птица! – твердил он, жуя и обкапывая салфетку. – У самых уст любезный хруст. Ну и поджарено! Точно кожуцу отдельно и индейку отдельно жарили. Искусники! Искусники!“ К этому еще мочения, которые Крылов очень любил, – нежинские огурчики, брусника, морошка. Крылов блаженствовал, глотая огромные антоновки, как сливы. Первые три блюда готовила кухарка, два последних – повар из английского клуба, знаменитый Федосеич. И вот подавался страсбургский паштет, – не в консервах, присланных из-за границы, а свежеприготовленный Федосеичем из самого свежего сливочного масла, трюфелей и гусиных печенок. Крылов делал изумленное лицо и с огорчением обращался к хозяину: „Друг милый и давнишний, зачем предательство это? Ведь узнаю Федосеича руку! Как было по дружбе не предупредить! А теперь что? Все места заняты!“ – „Найдется местечко!“ – утешал хозяин. – „Место-то найдется, но какое? Первые ряды все заняты, партер весь, бельэтаж и все ярусы тоже. Один раек остался. Федосеич – и раек! Ведь это грешно!“ – „Ничего, помаленьку в партер снизойдет!“ – посмеивался

хозяин. – „Разве что так“, – соглашался Крылов и накладывал себе тарелку горой.

Но вот и сладкое.

«Ну, что? Найдется еще местечко?» – интересовался хозяин. – «Для Федосеича трудов всегда найдется. А не нашлось бы, то и в проходе постоять можно», – отшучивался Крылов.

Водки и вина пил он немного, но сильно налегал на квас. Когда обед кончался, то около места Крылова на полу валялись бумажки и косточки от котлет, которые или мешали ему работать, или нарочно, из стыдливости, направлялись им под стол. Выходить из столовой Крылов не торопился, пропуская всех вперед. Войдя в кабинет, где пили кофе, он останавливался, деловито осматривался и направлялся к покойному креслу, поодаль от других. Он расставлял ноги и, положив локти на ручки кресла, складывал руки на животе. Крылов не спал, не дремал, – он переваривал. Удав удавом. На лице выражалось довольство. От разговора он положительно отказывался. Все это знали и его не тревожили. Но если кто-нибудь неделикатно запрашивал его, в ответ неслошь неопределенное мычание. Кофея выпивал он два стакана со сливками наполовину, а сливки были – воткнешь ложку, она так и стоит. Чай пили в девятом часу; к этому времени Крылов постепенно отходил, начинал прислушиваться к разговору и принимать в нем участие. Ужина в этом доме не бывало, и хотя Крылов отлично это знал, но для очистки совести, залучив в уголок Емельяна, покорно спрашивал: «Ведь

ужина не будет?»

«В поступи его и манерах, в росте и дородстве есть нечто медвежье, – с некоторым сожалением писал о Крылове хорошо знавший его Ф. Ф. Вигель. – Та же сила, та же спокойная угрюмость; при неуклюжести та же смышленость, затейливость и ловкость. В этом необыкновенном человеке были заложены зародыши всех талантов, всех искусств. Скоро, тяжестью тела как бы прикованный к земле и самым пошлым ее удовольствиям, его ум стал реже и ниже парить. Одного ему дано не было: душевного жара, священного огня, коим согрелась, растопилась бы сия масса. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостоивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. Две трети столетия прошел он один сквозь несколько поколений, одинаково равнодушный как к отцветшим, так и к зреющим. С хозяевами домов, кои по привычке он часто посещал, где ему было весело, где его лелеяли, откармливали, был он очень ласков и любезен; но если печаль какая их постигала, он неохотно ее разделял. Не сыщется ныне человека, который бы более Крылова благоговел перед высоким чином или титулом, в глазах коего сиятельство или звезда имели бы более блеска. Грустно подумать, что на нем выпечатан весь характер русского народа, каким сделали его татарское иго, тиранство Иоанна, крепостное право и железная рука Петра. – Вигель все же добавлял: – Если Крылов верное изображение его недостатков, то он же и представитель его великих спо-

собностей».

Умер 9 (21) ноября 1844 года в Петербурге.

«За несколько часов до кончины, – вспоминал Лобанов, – он, велев принести себя в кресла, сказал: „Тяжко мне!“ и потребовал, чтобы снова положили его в постель. Вспомнив, что напечатано им новое издание его басен, еще не выпущенное в свет, он поручил окружавшим его разослать по экземпляру всем помнящим о нем. Не я один, а, конечно, многие заплакали, получив приглашение на похороны Крылова и вместе с тем экземпляр изданных им самим басен, на главном листе которых, очерченном траурной каймой, было напечатано: *«Приношение. На память об Иване Андреевиче по его желанию»*.

# Василий Андреевич Жуковский

Родился 29 (9. II) января 1783 года в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии.

Незаконный сын помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи, муж которой был убит при осаде русскими войсками крепости Бендеры. Турчанку в Мишенское привез крепостной человек Бунина, участвовавший в кампании. Фамилию и отчество будущий поэт получил от проживавшего в доме обнищавшего дворянина Андрея Григорьевича Жуковского. «Я привык отделять себя от всех, – писал позже поэт, – потому что никто не принимал во мне особенного участия и потому что всякое участие ко мне казалось мне милостью».

Учиться Жуковского отдали в Тулу – в известный пансион Х. Ф. Роде, затем в народное училище. Впрочем, и оттуда, и оттуда его отчислили за неуспеваемость. Зато огромное влияние оказали на него директор Благородного пансиона при Московском университете И. П. Тургенев и его сыновья Андрей и Александр, с которыми Жуковский близко подружился. Прекрасно образованные, знавшие западную литературу, они познакомили Жуковского с поэзией Гете и Шиллера. По окончании пансиона они же организовали «Дружеское литературное общество», в котором, кроме братьев Тургеневых и Жуковского встречались поэт А. Мерзляков, М. и А. Кай-

саровы, С. Родзянко, А. Воейков. Целью общества было исключительно изучение литературы, но в старом уютном доме Воейкова на Девичьем поле друзья не раз»...*распалив вином и спорами умы и к человечеству любовью, хотели выкупить блаженство близких кровью*».

Увлеченный литературой, Жуковский перевел «Страдания юного Вертера» Гёте, роман Коцебу «Мальчик у ручья» и его же комедию «Ложный стыд». Благодаря Н. М. Карамзину, редактировавшему в то время «Вестник Европы», появилась в 1802 году в журнале знаменитая элегия Грея «Сельское кладбище», переведенная Жуковским и сразу сделавшая его имя известным. В том же году, оставив службу в Соляной конторе, куда он был определен после окончания университетского курса, Жуковский поселился в родном селе Мишенском с намерением посвятить жизнь только поэзии. В составленном им плане будущих переводов указывались поэмы Мильтона, Клопштока, Тассо, многочисленные отрывки из Вергилия, Гомера, Лукиана, Овидия, Шиллера, стихи немецких, французских и английских поэтов. Надо сказать, что Жуковский не только выполнил этот план, но во многом и превзошел его. «Могу указать вам легкий способ познакомиться со мною, как с поэтом, – писал он позже одному из своих заграничных почитателей, советуя тому внимательно перечитать оригиналы переведенных им стихов Шиллера, Гете, Гебеля и других. – Читая все эти стихотворения, верьте или старайтесь уверить себя, что они все переведены

с русского, с Жуковского: тогда вы будете иметь понятие о том, что я написал лучшего в жизни». И дальше, объясняя особенности своего дара: «Мой ум – как огниво, которым надобно ударить об камень, чтоб из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого – и все, однако, мое».

В 1805 году, давая уроки своим племянницам (Протасовым), жившим в Белеве, Жуковский страстно влюбился в старшую – Машу, которой, к несчастью, было в то время всего двенадцать лет. «Можно ли быть влюбленным в ребенка?» – записал он в дневнике. Но это была любовь, и когда Марии Андреевне исполнилось девятнадцать лет, он официально попросил ее руки. Сестра поэта (по отцу), мать девушки, пришла в ужас. Она не только не дала согласия на брак, справедливо указывая на близость родства и на разницу в возрасте, но и взяла с Жуковского слово, что он никогда больше не заговорит с девушкой о своей любви.

В 1812 году Жуковский в чине поручика вступил в Московское ополчение.

В день Бородинского сражения он находился в резерве, всего в двух верстах от места боя; после сдачи Москвы его прикомандировали к штабу М. И. Кутузова. В Тарутино Жуковский написал знаменитую оду «Певец во стане русских воинов», в которой поименно прославил всех живых и погибших героев Отечественной войны. В декабре того же го-

да ода появилась в журнале «Вестник Европы», обратив на поэта внимание двора.

В январе 1813 года Жуковский вернулся в родные места. Мысль о браке с Марией Андреевной ни на один день не оставляла поэта, но Протасовы к тому времени переехали в Дерпт. Отправившись туда, Жуковский узнал, что Мария Андреева выходит замуж за профессора Дерптского университета И. Ф. Мойера. Только убедившись, что брак совершается по взаимной любви, Жуковский, наконец, смирился. Он даже написал невесте письмо: «Маша, смотри же, не обмани меня! Чтобы нам непременно вместе состряпать твоё счастье, тогда и все прекрасно!» Печальный роман закончился взаимной дружбой, которая была прервана смертью Марии Андреевны (от родов) в 1823 году.

В сентября 1815 года Жуковского пригласили на должность чтеца при вдове императора Павла I – Марии Федоровне. Там же, при дворе, он преподавал русский язык немецкой принцессе Шарлотте, будущей жене Николая I, затем занимался воспитанием и образованием наследника престола, будущего императора Александра II. В его свите в начале двадцатых годов Жуковский путешествовал по Германии, Швейцарии, Австрии и между делами перевел на русский язык повесть Т. Мура «Пери и Ангел», поэму Байрона «Шильонский узник» и трагедию Шиллера «Орлеанская дева». По возвращении в Россию писал мало, зато вновь вернулся к мысли о женитьбе. «Увы! – писал Карамзин Дмитриеву. –

Жуковский влюблен, но не жених! Ему хотелось бы жениться, но при дворе не так легко найти невесту для стихотворца, хотя и любимого». Роман поэта с графиней С. А. Самойловой, который многие называли странным, кончился действительно странно. «Жуковский, как сказывали мне, – писал одному из своих приятелей поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий, – объяснялся с графиней Самойловой. Ты знаешь, что считали его в нее влюбленным. Он ей сказал, что сожалеет о том, что исканию его дружбы у нее она не ответствовала, и изъявление его к ней дружбы приписала, как видно, другому чувствованию, которое, впрочем, внушить она всех более может. Как доведено было до этого, и что далее им было сказано, не знаю; но на эти слова она, сказывают, молчала, и будто показались у ней на глазах слезы. И подлинно: как? Человек приходит женщине сказать: не подумай, ради Бога, чтоб я в тебя был влюблен!»

В начале тридцатых годов Жуковский лечился за границей – в Германии. Там были написаны «Сказка о царе Берендее», «Спящая красавица», «Война мышей и лягушек», баллады «Роллан-оруженосец», «Плавание Карла», «Братоубийца». Баллады Жуковского были к тому времени общеизвестны. Никого не интересовало их происхождение, они давно вошли в русскую поэзию и стали явлением именно русской поэзии. *«Раз в крещенский вечерок девушки гадали: за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали; снег пололи; под окном слушали; кормили счетным курицу зерном; ярый воск топ-*

*ли; в чашу с чистой водой клали перстень золотой, серьги изумрудны; расстился белый плат и над чашей пели в лад песенки подблюдны...»*

В Петербурге Жуковский жил в Зимнем дворце.

«В год переселения нашего семейства в Петербург – мне было тогда 16 лет, – вспоминал И. С. Тургенев, – моей матушке вздумалось напомнить о себе Василию Андреевичу (когда-то они были знакомы). Она вышила ко дню его именин красивую бархатную подушку и послала меня с нею к нему в Зимний дворец. Я должен был назвать себя, объяснить, чей я сын, и поднести подарок. Но когда я очутился в огромном, до сих пор мне незнакомом дворце; когда мне пришлось пробираться по каменным длинным коридорам, подниматься на каменные лестницы, то и дело натыкаясь на неподвижных, словно тоже каменных, часовых; когда я, наконец, отыскал квартиру Жуковского и очутился перед трехаршинным красным лакеем с галунами по всем швам и орлами на галунах, – мною овладел такой трепет, я почувствовал такую робость, что, представ в кабинет, куда пригласил меня красный лакей и где из-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-приветливое, но важное и несколько изумленное лицо самого поэта, – я, несмотря на все усилия, не мог произнести звука: язык, как говорится, прилип к гортани, – и, весь сгорая от стыда, едва ли не со слезами на глазах, остановился как вкопанный на пороге двери и только протягивал и поддерживал обеими руками – как младенца при крещении

– несчастную подушку, на которой, как теперь помню, была изображена девица в средневековом костюме, с попугаем на плече. Смущение мое, вероятно, возбудило чувство жалости в доброй душе Жуковского; он подошел ко мне, тихонько взял у меня подушку, попросил меня сесть, и снисходительно заговорил со мною. Я объяснил ему наконец, в чем было дело – и, как только мог, бросился бежать».

«Портреты Жуковского почти все очень похожи, – писал дальше Тургенев. – Физиономия его была не из тех, которые уловить трудно, которые часто меняются. Конечно, в 1834 году в нем и следа не оставалось того болезненного юноши, каким представлялся воображению наших отцов „Певец во стане русских воинов“; он стал осанистым, почти полным человеком. Лицо его, слегка припухлое, молочного цвета, без морщин, дышало спокойствием; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп; тихая благодать светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и приветия. Полу-восточное происхождение его (мать его была, как известно, турчанка) сказывалось во всем облике».

Пользуясь своим положением при дворе, Жуковский не мало помогал друзьям. По крайней мере, не раз добивался более мягкого отношения к Пушкину, хлопотал о больном

К. Батюшкове, об освобождения от солдатчины Е. Баратынского, о выкупе из крепостной неволи Тараса Шевченко; крепостных крестьян из жалованных ему деревенок Жуковский, кстати, отпустил на волю. Уже с утра на лестнице, ведущей в квартиру поэта, толпились просители всякого рода и звания. Что же касается поэтической популярности, то она была столь велика, что в известном литературном обществе «Арзамас» каждый член обязательно принимал имя какого-нибудь героя его знаменитых баллад: Батюшков – Ахилл, сам Жуковский – Светлана, Вяземский – Асмодей, Блудов – Кассандра, А. Тургенев – Эолова арфа, и так далее.

«Жуковский был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, – писал Вяземский, – но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! По натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залогом карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острою замысловатостью». Будучи бессменным секретарем «Арзамаса», Жуковский вел протоколы, резко отличающиеся веселостью тона от всех других. «Его превосходительством мною прочитан был протокол предыдущего заседания, – так писал он, – краткий, но отличающийся тем необыкновенным остроумием, которым одарила меня благосклонная судьба, и члены, глядя на меня с умилением, радовались, что я им товарищ; а я не гордился нимало; напротив, с свойственною

мне скромностью принимал их похвалы за одни выражения дружбы и удостаивал друзей моих снисходительной и весьма лестной для них улыбкой. Его превосходительство я же был введен с церемонией в храмину заседания... Меня ввели, и все лица просияли... Я произнес клятву, потом сел или паче вдвинул в гостеприимные объятия стула ту часть моего тела, которая особенно нужна для сидения и которая в виде головы торчит на плечах халдеев „Беседы“ (враждебного „Арзамасу“ литературного общества). Потом отверзлись уста мои, и начал я хвалить одного беседного покойника. Члены отдали справедливость моему красноречию смехом и шумными плесками. А почтенный президент Чу весьма удачно похвалил мои различные достоинства в краткой речи, в которой не забыл упомянуть и о моем друге месяце (часто воспеваемом в стихах Жуковского), за что я ему останусь весьма благодарен... Все это было заключено ужином... Гуся не было, и каждый член, погруженный в меланхолию, шептал про себя: Где гусь? – Он там! – Где там? – Не знаю!». – В приведенном здесь протоколе обыграны строки из стихотворения Державина, и особенности стихов самого Жуковского.

После путешествия с наследником царского трона по России, а затем по Европе (с мая 1838 по начало 1839 года), Жуковский вышел в отставку. Возложенные на него педагогические задачи были выполнены, наследник достиг совершеннолетия. В Германии, в 1941 году, Жуковский женился на дочери своего друга художника Рейтерна – Елизавете

те, которую знал еще ребенком. Брак этот не оказался счастливым: поселившись в Дюссельдорфе (теперь уже навсегда), Жуковский часто жаловался на тяжелую болезнь жены, на оторванность от друзей, на утрату зрения. Тем не менее, продолжал упорно работать. В последние годы он записал белыми стихами три сказки из собрания братьев Гримм – «Об Иване-Царевиче и сером волке», «Кот в сапогах» и «Тюльпанное дерево», перевел поэму Фирдоуси «Рустем и Зораб», «Одиссею» Гомера.

Умер 12 (24) апреля 1852 года в Баден-Бадене.

Прах поэта перевезен в Петербург; похоронен на кладбище Александро-Невской лавры рядом с Карамзиным.

# Александр Сергеевич Пушкин

*Нет, я не дорожусь мятежным наслаждением,  
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,  
Стенаньем, криками вакханки молодой,  
Когда, вясь в моих объятиях змией,  
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний  
Она торопит миг последних содроганий.*

*О, как милее ты, смиренница моя!  
О, как мучительно тобою счастлив я,  
Когда, склоняясь на долгие моления,  
Ты предаешься мне нежна без упоенья,  
Стыдливо-холодна, восторгу моему  
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему  
И оживляешься все боле, боле —  
И делишь наконец мой пламень поневоле.*

Родился 26 (6. VI) мая 1799 года в Москве.

Отец – отставной майор Сергей Львович, из старинного рода.

«Родословная матери моей, – писал поэт, – еще любопытнее. Дед ее негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из своего се-

раля, где содержался он аманатом, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с польскою королевою, супругой Августа, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 года Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах; потом послан был в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войны был в голову ранен в *одном подземном сражении* (сказано в рукописной его биографии) и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого света. Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что он неволить его не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во Франции, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Тронутый Ганнибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал ему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но которого я не мог уж отыскать. Государь пожаловал Ганнибала в бомбардирскую роту Преображенского полка капитан-лейтенантом. Известно,

что сам Петр был ее капитаном. Это было в 1722 году. После смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меншиков, опасаясь его влияния на императора Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с поручением измерить Китайскую стену».

Сергей Львович увлекался литературой, в доме Пушкиных бывали Карамзин, Дмитриев, Жуковский. Дядя – Василий Львович – был известный поэт. Сына родители, к сожалению, не любили. С малых лет он был сдан на руки няне Арине Родионовне, крепостной Пушкиных, отпущенной на волю, а когда подрос, под надзор гувернеров-французов.

В 1811 году Василий Львович при помощи влиятельных друзей (прежде всего А. И. Тургенева) устроил Пушкина в только что открывшийся Царскосельский лицей. Это учебное заведение находилось под особым покровительством императора Александра I и должно было готовить будущих государственных деятелей. Попасть в него было трудно, можно было надеяться только на протекцию, отсюда такой разброс: от аристократа Горчакова, ни в чем не знавшего нужды, до бедняка Кюхельбекера, за которого, правда, хлопотал его влиятельный родственник – главнокомандующий русской армией в Отечественную войну 1812 года фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли.

Поведением юный лицеист не блистал. «Пушкин 6-го числа, – доносил надзиратель Пилецкий в ноябре 1812 года, – в

суждении своем об уроках сказал: признаюсь, что я логики, право, не понимаю, да и многие даже лучшие меня оной не знают, потому что логические силлогизмы весьма для него невняты. – 16-го числа весьма оскорбительно шутил с Мясоедовым на щот 4 департамента, зная, что его отец там служит, произнося какие-то стихи, коих мне повторить не хотел, при увещевании же сделал слабое признание, а раскаяния не видно было. – 18-го толкал Пущина и Мясоедова, повторяя им слова: что если они будут жаловаться, то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывертеться умею. В классе рисовальном называл г. Горчакова вольной польской дамой. – 23-го, когда я у г. Дельвига в классе г. профессора Гауэншильда отнимал бранное на г. инспектора сочинение, в то время г. Пушкин с непристойной вспыльчивостью говорит мне громко: „Как вы смеете брать наши бумаги – стало быть, и письма наши из ящика будете брать?“ Присутствие г. профессора, вероятно, удержало его от худшего еще поступка, ибо приметен был гнев его. – 30-го числа к вечеру г. профессору Кошанскому изъяснил какие-то дела петербургских модных лавок, я не слышал сам сего разговора, только пришел в то время, когда г. Кошанский сказал ему: я повыше вас, а, право, не вздумаю такого вздора, да и вряд ли кому оный придет в голову. Спрашивал я других воспитанников, но никто не мог его разговор повторить – по скромности, как видно».

В 1815 году в Царское Село возвратилась из заграничного

похода гвардия, возглавляемая Александром I. Победоносная война создала особенную атмосферу в столице. На состоявшемся в том же году экзамене Пушкин восхитил Державина своими стихами «Воспоминания в Царском селе», но сам уже тянулся к Батюшкову, к Жуковскому, чему немало способствовало его участие в литературном обществе «Арзамас».

В начале июня 1817 года состоялся первый выпуск лицезистов. Пушкин вышел из лицея с чином коллежского секретаря, а те, кто преуспел больше – титулярного советника. Лето провел в селе Михайловском, затем вернулся в Петербург, где был определен в Коллегию иностранных дел, – с жалованьем 700 рублей в год. Круг знакомств Пушкина к этому времени чрезвычайно расширился. Веселье, молодое буйство кипело в его стихах, да и сам поэт производил впечатление. «В самой наружности его, – вспоминал один из друзей, – было много особенного: он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову; носил бакенбарды большие и всклокоченные; одевался небрежно; ходил скоро, повертывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песню».

В 1818 году Пушкин стал деятельным членом «Зеленой лампы», являвшейся как бы литературным отделением общества декабристов. В число декабристов Пушкин не был приглашен, однако эпиграммы его, а особенно ода «Вольность», попавшие на глаза Александру I, привели царя в

гнев. Только заступничество поэтов Жуковского и Крылова, а затем губернатора Петербурга графа Милорадовича, позволило заменить суровую ссылку в Сибирь ссылкой на южную окраину России. Официально ссылку оформили как назначение на службу в Кишинев, и 6 мая 1820 года Пушкин выехал в распоряжение наместника Бессарабии генерала И. Н. Инзова. Уже после отъезда Пушкина вышла в свет поэма «Руслан и Людмила». С семьей генерала Н. Н. Раевского, в старшую дочь которого он был влюблен, поэт совершил поездку на Кавказ и Крым. «Моя Марина славная баба, – писал он Вяземскому, – настоящая Катерина Орлова. Не говори, однако, этого никому». В письмах и в беседах с друзьями увлекающийся поэт часто не щадил своих возлюбленных.

В южной ссылке Пушкин написал «Песнь о вещем Олеге», поэму «Кавказский пленник». За ними последовала поэма «Братья-разбойники», основанная, кстати, на действительном происшествии – побеге двух разбойников из кишиневской тюрьмы, и «Бахчисарайский фонтан». В июле 1823 года поэта перевели в Одессу под начальство новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. Известная эпиграмма Пушкина (*«Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда, полу-подлец, но есть надежда, что будет полный наконец»*.) сильно, конечно, преувеличивала недостатки генерал-губернатора, решительно проявившего себя и на Кавказе, и в шведской войне, и в наполеоновских компаниях, и в войне турецкой. После Бородинского сражения,

отправляясь на лечение (он был ранен в бою) в собственное имение, Воронцов пригласил с собой пятьдесят раненых офицеров и триста солдат. Покидая с оккупационным корпусом, которым он командовал, Францию, из личных средств оплатил долги всех офицеров. И этим вовсе не ограничивались его достоинства, крепко смешанные, впрочем, с холодностью, честолюбием, властью. Ни по службе, ни по чину, ни тем более по ссыльному своему положению Пушкин никак не мог претендовать на личное знакомство с Воронцовым, лишь столичные рекомендации позволили ему войти в круг генерал-губернатора. «Предания той эпохи упоминают о женщине (красавице Елизавете Ксавериевне, жене Воронцова), превосходившей всех других во власти, с которой управляла мыслию и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни».

Намеренно подчеркивая подневольное положение поэта, Воронцов не раз поручал ему дела, на взгляд самого Пушкина, оскорбительные. Например, отправлял в уезды собирать сведения о появившейся там саранче. Известен стихотворный отчет, поданный Пушкиным генерал-губернатору: *«Саранча летела, летела – и села. Сидела, сидела, всё съела и вновь улетела»*. Старому своему другу А. Тургеневу Пуш-

кин писал: «Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения начальника, мне надоело, что со мною в моем отечестве обращаются с меньшим уважением, чем с первым английским шалопаем. Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое». Раздраженный поведением Пушкина Воронцов энергично потребовал его удаления из Одессы. Помог случай: в руки полиции попало письмо, в котором поэт отвергал бессмертие души и одобрял атеизм как «систему, более всего правдоподобную». Царь, когда ему донесли о письме, приказал уволить Пушкина со службы и отправить в новую ссылку, на этот раз в усадьбу отца – село Михайловское Псковской губернии.

На лето в Михайловском собралась вся семья, однако к осени Пушкин остался один. Здесь он продолжил работу над начатым в Одессе романом в стихах – «Евгений Онегин». «Соседей около меня мало, – писал он одному из друзей. – Я знаком только с одним семейством и то вижу его довольно редко. Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; она – единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно». Правда, в селе Тригорском в семье помещицы Осиповой Пушкина полюбили, а в январе 1825 года неожиданно посетил поэта его старый лицейский товарищ И. И. Пущин. В июне того же года Пушкин встретил в Тригорском Анну Керн; эта встреча подарила русской поэзии одно из самых совершенных ее творений – стихи «Я помню чуд-

ное мгновенье». Эта внезапно вспыхнувшая любовь, впрочем, протекала на глазах Осиповых и Аннеты Вульф, которым вряд ли приятно было видеть влюбленного поэта, но самого Пушкина это остановить не могло.

В Михайловском усилился интерес Пушкина к истории. Он внимательно изучал работы Карамзина, исследовал материалы, касающиеся Пугачевского бунта, закончил трагедию «Борис Годунов». В декабре 1825 года размеренная жизнь поэта была нарушена известиями о восстании декабристов. Несколько месяцев поэт ждал изменений в своей судьбе, но только в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года его вызвали в Москву. «Пушкину, – было сказано в предписании, подписанном Николаем I, – позволяется ехать в своем экипаже, свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта». Прямо с дороги Пушкина доставили к царю. Известно, что на вопрос Николая I, где бы он находился 14 декабря, окажись он в Петербурге, поэт прямо ответил, что был бы с мятежниками на площади. Тем не менее, царь простил его, потребовав отказа от любой борьбы с правительством. «Пиши свободно, – сказал он Пушкину, – я сам буду твоим цензором».

В Москве Пушкин сразу вошел в круг старых друзей – Вяземского, Чаадаева, Баратынского, Веневитинова. «Он был небольшого роста, – вспоминал Пушкина писатель Н. И. Тарасенко-Отрешков, – сухощав, с курчавыми, весьма темно-русыми, почти черными волосами, с глазами темно-голубыми. В облике лица сохранялись еще черты африканско-

го происхождения, но в легком уже напоминании. Даже во множестве нельзя было не заметить Пушкина: по уму в глазах, по выражению лица, высказывающему какую-то решимость характера, по едва ли унимаемой природной живости, какого-то внутреннего беспокойства, по проявлению с трудом сдерживаемых страстей. Таким, по крайней мере, казался мне Пушкин в последние годы своей жизни. К этому можно еще сказать, что также нельзя было не заметить невнимания Пушкина к своему платью и его покрою на больших балах. В обществе, сколько мне случалось его видеть, я всегда находил его весьма молчаливым, избегающим всякого высказывания. Неоднократно я слышал, как Пушкин, со свойственной ему откровенностью, говорил, что не читал многих из называемых ему даже весьма известных сочинений по части древних и новых философий, политики и истории. Зато при большой памяти, познания Пушкина собственно в произведениях словесности европейской и отечественной были обширны... Я помню, – добавлял Тарасенко-Отрешков, – как однажды Пушкин говорил мне, что он терпеть не может, когда просят у него не на водку, а на чай. Причем не мог скрыть своего легкого неудовольствия, когда я сказал, что распространяющийся в наших сословиях народа обычай пить чай благодетелен для нравственности и что нельзя этому не радоваться. „Но пить чай, – возразил Пушкин с живостью, – не русский обычай!“.

Что из себя представляет личная царская цензура, поэт

понял, когда ему вернули рукопись трагедии «Борис Годунов», на которой Николай I начертал: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта».

В 1827 году Пушкин начал работать над романом «Арап Петра Великого», в 1828 году закончил поэму «Полтава». Но в том же году до Николая I дошел список «Гаврилады», – поэмы, признанной нечестивой. Пушкин пытался оправдаться перед царем, но вновь был отдан под надзор полиции. Напрасно поэт просил разрешения вступить добровольцем в русскую армию, действовавшую в то время против турок. Просьба его была отклонена, так же, как и просьба выехать за границу. «Государь-император не удостоил снизойти на Вашу просьбу, – ответил Пушкину начальник III отделения граф А. Х. Бенкендорф, – полагая, что это слишком расстроит Ваши денежные дела и в то же время отвлечет Вас от ваших занятий».

В апреле 1829 года Пушкин сделал предложение признанной московской красавице Наталье Николаевне Гончаровой, но не получил определенного ответа. Удрученный поэт, даже не испросив официального разрешения, уехал на Кавказ, где принял участие в походе русской армии на Арзрум. «Спросите, – зачем? – писал он матери Натальи Николаевны. – Клянусь, сам не умею сказать; но тоска произвольная гнала меня из Москвы; я бы не мог в ней вынести присут-

ствия вашего и ее». Эта поездка вызвала новое неудовольствие властей, пришлось объясняться с графом А. Х. Бенкендорфом. А журналист Ф. Булгарин в «Северной пчеле» возвращение Пушкина отметил по-своему. «Мы думали, – писал он, – что автор Руслана и Людмилы устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, – и мы ошиблись. Лирь знаменитые остались безмолвными, а в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый... Сердцу больно, когда взглянешь на эту бесплодную картину...»

Выгодно продав собрание сочинений, Пушкин несколько поправил свои материальные дела. В мае 1830 года мать Н. Н. Гончаровой дала согласие на брак Пушкина с дочерью, а отец поэта по случаю предстоявшей женитьбы выделил ему двести незаложенных крестьянских душ из своих нижегородских поместий. Для устройства имущественных дел Пушкин в начале осени выехал в село Болдино.

«Милый мой, – писал он П. А. Плетневу, – расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем, я хладею, думая о заботах женатого человека, о прелести холостяцкой жизни. К тому же мос-

ковские сплетни (связанные с прежними многочисленными любовными похождениями поэта) доходят до ушей невесты и ее матери, – отселе размолвки, колкие обиняки, ненадежные примирения, – словом, если я не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Еду в деревню. Боже, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие... Так-то, душа моя... Чорт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью».

В Болдино Пушкину пришлось провести гораздо больше времени, чем он предполагал, потому что в крае началась холера и на дорогах были выставлены карантинные заставы. Это чрезвычайно мучило Пушкина, зато в эту осень (вошедшую в историю русской литературы как *болдинская*) он закончил роман «Евгений Онегин», написал маленькие трагедии – «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы», «Сказку о попе и о работнике его Балде», «Повесть Белкина», «Историю села Горюхина».

«В душе была усталость от беспутной холостой жизни, жажда тишины, семейного уюта, – писал Вересаев, – поворачивать было поздно. И Пушкин как зачарованный шел к роковой цели. За неделю до свадьбы он писал другу: „Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я

жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. „Счастье – только на избитых тропах“. Мне за тридцать лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся, – я поступаю, как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входили в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью“. Последние недели перед свадьбой в душе Пушкина была большая грусть и большая тоска. У друга его Нащокина как-то собрались цыганки, пели. Пушкин попросил цыганку Таню спеть ему что-нибудь на счастье; но у той было свое сердечное горе, она не подумала и спела грустную песню, и в пение вложила всю свою печаль. Пушкин схватился рукой за голову и зарыдал. И сказал: „Ах, эта ее песня все во мне перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!“ И уехал, ни с кем не простившись...

18 февраля 1831 года произошла свадьба в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской. Пушкин, в противоположность последним дням, был очень радостен, смеялся, был любезен с друзьями. Но во время обряда, при обмене колец, кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него потухла свечка. Он побледнел и сказал: «Все – плохие предзнаменования!» Вечером был большой свадебный ужин в новонанятой квартире Пушкина на Арбате. А на следующий день Пушкин встал с постели – да так весь день жены и не видел.

К нему пришли приятели, он с ними заговорился, забыл про жену и пришел к ней только к обеду. Она очутилась одна в чужом доме и заливалась слезами...»

В мае 1832 года у Пушкиных родилась дочь Мария, в последующие годы – сыновья Александр и Григорий, дочь Наталья. В доме с Пушкиными жили незамужние сестры Натальи Николаевны – Александрина и Екатерина. Расходы сильно возросли. Светская жизнь требовала средств. Служба в Государственной коллегии иностранных дел давала Пушкину 5000 рублей в год, но этой суммы было недостаточно. Случалось, что Пушкин закладывал в ломбард старую шаль, чтобы уплатить срочный долг. К концу жизни долги поэта составили огромную по тем временам сумму – более 80 000 рублей. Даже морошка, которую давали умирающему Пушкину, судя по записи торговца, была взята в долг.

В 1832 году Пушкин закончил роман «Дубровский» и вплотную занялся «Историей Пугачева». В конце лета, получив на то разрешение, он объехал места, охваченные когда-то Пугачевским восстанием, посетил Казань, Оренбург, знаменитую Бердскую слободу. В 1834 году труд вышел в свет под названием, подсказанным Николаем I – «История Пугачевского бунта». Как некое его продолжение появился осенью 1836 года и роман «Капитанская дочка», надолго определивший интонацию русской прозы.

Накануне нового 1834 года Пушкин записал в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно

неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове... Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, – а по мне хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике». Тем не менее, поэт был уязвлен и через некоторое время подал в отставку. Правда, Жуковский сумел уговорить Пушкина взять свое прошение обратно, поскольку Николай I пригрозил в случае отставки запретить поэту работу с архивом.

В 1835 году Пушкин получил разрешение на издание журнала «Современник»; первая книга журнала вышла уже в апреле 1836 года.

Постоянная зависимость от властей тяготила поэта. Даже близкие друзья – Карамзины, Вяземский, Жуковский, чувствуя нарастающее нерасположение царя к Пушкину, начали отходить от него. К тому же, вышедший к этому времени роман «Евгений Онегин» не вызвал особенного интереса критики. О романе писали, что он «есть собрание отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том, о сем, вставленных в одну раму, из которых автор не составит ничего, имеющего свое отдельное значение». И даже так: «Те, кои думали видеть в мыльных пузырьках, пускаемых затейливым воображением Пушкина, роскошные огни высокой поэтической фантазмагии, наконец должны признать себя жалко обманувшимися».

Давили на поэта и семейные неурядицы. Больше всего в это время ему хотелось перебраться в деревню, но этого категорически не желала Наталья Николаевна. «Главное несчастье Пушкина заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей, – писал граф В. А. Сологуб. – Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел какое-то непостижимое пристрастие. Когда при разъездах кричали: „Карету Пушкина! – Какого Пушкина? – Сочинителя!“ – Пушкин обижался, конечно не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых».

Нарастающую мрачность поэта отметил и Н. В. Гоголь. «Когда я начал читать Пушкину первые главы из „Мертвых душ“, в том виде, как они были прежде, – писал он, – то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: „Боже, как грустна наша Россия!“ Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка!»

В 1834 году в Петербург приехал француз Жорж Дантес, приемный сын нидерландского посланника барона Геккерена. Благодаря связям, он принят был сразу офицером в кавалергардский полк и быстро занял заметное положение в свете. Живость и остроумие Дантеса нравились Пушкину, француз стал бывать в доме, однако Дантес позволил себе влюбиться в Наталью Николаевну, сплетни поползли по Петербургу, а 4 ноября 1836 года Пушкин получил некий анонимный «диплом» следующего содержания: «Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев в полном собрании своем, под председательством великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Н. Нарышкина, единогласно выбрали Александра Пушкина заместителем великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом ордена». Такие же письма получили многие знакомые Пушкина, в том числе упомянутый в письме Нарышкин, муж красавицы Марии Антоновны, находившейся в долголетней связи с императором Александром I. Заподозрив в случившемся козни барона Геккерена, Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, приемного его сына, поскольку вызвать на поединок самого официального посланника не мог. Впрочем, Дантес избежал дуэли, срочно устроив свой брак с сестрой Натальи Николаевны – Екатериной. При этом своих ухаживаний за Натальей Николаевной он не оставил.

«Не в каждом начале уже заложен конец, – писала Н. Берберова в известной книге „Курсив мой“, – а главное, не все-

гда его можно увидеть, иногда он спрятан слишком хорошо. Смотри назад, в XIX век, видишь, что и смерть Пушкина, и смерть Льва Толстого (и Лермонтова), так похожие на самоубийства, тоже были заложены в их судьбе. Если бы Толстой ушел из дому сразу после „Исповеди“, он умер бы свободным человеком, изжив свою морализирующую религию. Если бы Пушкин ушел от жены, и двора, и Бенкендорфа, ему не пришлось бы искать смерти. Оба стали жертвами своей аберрации – Толстой стал жертвой своей дихотомии, Пушкин стал ясен только теперь, после опубликования Геккереновского архива: стало известно, наконец, что Наталья Николаевна не любила его, а любила Дантеса. На „пламени“, разделенном „поневоле“, Пушкин строил свою жизнь, не подозревая, что такой пламень не есть истинный пламень и что в его время уже не может быть верности только потому, что женщина кому-то „отдана“. Пушкин кончил свою жизнь из-за женщины, не понимая, что такое женщина, а уж он ли не знал ее! Татьяна Ларина жестоко отомстила ему».

«Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз, – вспоминал И. С. Тургенев, – за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей – и кудрявые во-

лосы. Он и на меня бросил беглый взгляд; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом – вообще он казался не в духе – и отошел в сторону».

26 января 1837 года Пушкин отправил барону Геккерену в высшей степени оскорбительное письмо. «...Вы, представитель коронованной главы, – писал он, – вы отечески служили сводником вашему сыну. По-видимому, всем его поведением (довольно, впрочем, неловким) руководили вы. Вы, вероятно, внушали ему нелепости, которые он брался излагать письменно. Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтоб говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; и когда, больной сифилисом, он оставался дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней».

27 января 1837 года, стреляясь с Дантесом вблизи Черной речки, поэт был смертельно ранен. Он упал на шинель, брошенную на снег для указания барьера, секунданты бросились к нему, то же хотел сделать и Дантес, но Пушкин жестом остановил его. «Я чувствую достаточно сил, – сказал он по-французски, – чтобы сделать свой выстрел». На коленях, полулежа, он прицелился и выстрелил, – пуля пробила Дантесу правую руку и попала в пуговицу. «Убил я его?» – спросил Пушкин. Д'Аршиак, секундант, ответил: «Нет, вы его ранили». – «Странно, – сказал Пушкин. – Я думал, что

мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет... Впрочем, все равно... Как только мы поправимся, снова начнем...»

Ночь и следующий день прошли в мучениях. У постели умирающего сошлись друзья поэта – Жуковский, Вяземский, Данзас, А. И. Тургенев. У дома постоянно толпились люди, прослышавшие про трагическую дуэль. 29 января 1837 года в 2 часа 45 минут дня Пушкин скончался. Опасаясь невольных волнений, Николай I приказал отправить прах поэта в Михайловское тайно, ночью, в сопровождении жандарма. Что же касается семьи поэта, то в специальной «Записке о милостях» царь указал: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пансион и дочери по замужеству. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинения издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единоразовно 10 т».

# Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский)

Родился 19 (2. III) февраля 1800 года в имении Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Отец, генерал-адъютант, умер, когда мальчику исполнилось десять лет. Воспитывался матерью и «дядькой-итальянцем» Джачинто Боргезе. В декабре 1812 года, окончив частный пансион в Петербурге, поступил в Пажеский корпус — одно из привилегированных военно-учебных заведений того времени. Больше всего любил авантюрные и приключенческие книги. «Глориозо Ринальди-Ринальдини и в особенности Шиллеров Карл Моор разгорячали мое воображение. Разбойничья жизнь казалась для меня завиднейшею в свете, и, природно беспокойный и предприимчивый, я задумал составить общество мстителей, имевшее целью сколько возможно мучить наших начальников».

Шалости малолетних «мстителей», как того и следовало ожидать, не привели к добру. В феврале 1816 года сын камергера Приклонского передал Баратынскому и еще одному своему приятелю ключ, подобранный к отцовскому бюро, откуда мальчики вынули черепаховую табакерку и 500 рублей. Деньги были быстро прокатаны на извозчике и проданы на пирожках и пирожных, затем дело вскрылось. По

личному распоряжению царя за «негодное поведение» Баратынский был изгнан из корпуса со строжайшим запрещением поступать на любую службу, кроме военной, да и то рядовым. «Этот случай принадлежит к тем случаям моей жизни, – писал поэт в 1823 году Жуковскому, – на которых я мог бы основать систему предопределения... Я сто раз готов был лишиться себя жизни... Здоровье мое не выдержало сих душевных движений: я впал в жестокую нервическую горячку, и едва успели призвать меня к жизни...»

Почти три года Баратынский безвыездно провел в имении своего дяди – в селе Подвойском Смоленской губернии, надеясь на высочайшее прощение, но прощения не последовало. В 1818 году Баратынский вернулся в Петербург. Дельвиг ввел его в круг столичных литераторов, познакомил с Пушкиным, стихи поэта начали появляться в журналах, однако осенью того года Баратынский вынужден был все же поступить на военную службу – рядовым в лейб-гвардии Егерский полк. «Не служба моя, к которой я привык, меня угнетает, – писал он уже из полка одному из друзей. – Меня мучит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны».

В 1820 году Баратынского перевели в Нейшлотский пехотный полк, расквартированный в Финляндии. Здесь он провел почти пять лет, правда, свобода его уже не была так стеснена, как прежде, – по крайней мере, он довольно

часто приезжал в Петербург. «Мы помним Баратынского в 1821 г., – писал О. Сенковский, – когда изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастьем, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других, Баратынский говорил сам себе, как говорил в стихах своих: *«Мне мнится, счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне...»* Друзья продолжали хлопотать о судьбе Баратынского, но только в 1824 году генерал-губернатор Финляндии А. А. Закревский (по просьбе героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова), перевел опального поэта в свой штаб, находившийся в Гельсингфорсе, а весной 1825 года представил к офицерскому чину, получение которого позволило Баратынскому выйти в отставку. Он уехал в Москву, там выгодно женился на дочери генерал-майора Энгельгардта – Анастасии Львовне, богатой наследнице. Но в свете Баратынские бывали крайне редко. Отец Пушкина Сергей Львович писал: «Видим Баратынского в Москве очень часто: не зная бессонных ночей на балах и раутах, Баратынские ведут жизнь самую простую: встают в семь утра во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в девять часов вечера и никогда не выступают из этой рамки, что не мешает им быть всем довольными, спокойными, следовательно – счастливыми».

Подолгу жил Баратынский в поместье Мураново, где дом

был поставлен по его проекту. «Мой дед проявлял живейший интерес к земледелию, садоводству, огородничеству, занимался устройством лесопилки у себя в деревне», – писала позже его внучка Н. А. Обухова. В 1826 году Пушкин весьма похвально отозвался о вышедшей из печати стихотворной «финляндской повести» Баратынского «Эда»: «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт – всякий говорит по-своему. Перечтите сию простую восхитительную повесть, вы увидите, с какою глубиною чувств развита в ней женская любовь». И дальше: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален – ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем чувствует сильно и глубоко. Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды. Он шел своей дорогой один и независим». И еще писал Пушкин в письме к П. Вяземскому: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова. Оставим ему все эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет».

В 1827 году вышел в свет отдельный сборник стихов Баратынского, в 1828 году появилась поэма «Бал» (в одной книжке с повестью Пушкина «Граф Нулин»), в 1831 году – «Наложница», а в 1835 – второе, дополненное и переработанное издание стихотворений. Огорченный закрытием журна-

ла «Европеец», Баратынский писал в 1832 году И. Киреевскому: «От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным». И напомнил при этом: «Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделял бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления».

В 1842 году вышел последний прижизненный сборник стихов Баратынского – «Сумерки». А осенью следующего года поэт с двумя старшими детьми отправился в большое путешествие по Европе. Он побывал в Германии, во Франции. В Париже он виделся с декабристом-эмигрантом Н. И. Тургеневым, с Н. П. Огаревым, познакомился с Ламартином, Альфредом де Виньи, Проспером Мериме, Сент-Бевом. «Я очень наслаждаюсь путешествием, – писал он домой, – и быстрой сменой впечатлений. Железные дороги чудная вещь: это апофеоз рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на земле не будет меланхолии». В апреле 1844 года Баратынские через Марсель отправились в Италию, люби-

мую Баратынским с детства, благодаря воспитывавшему его «дядьке-итальянцу». *«Много земель я оставил за мною; вынес я много мятежной душою радостей ложных, истинных зол: много мятежных решил я вопросов прежде, чем руки марсельских матросов подняли якорь, надежды символ».*

29 июня 1844 года, находясь в Неаполе, Баратынский скоропостижно скончался. Тело поэта в кипарисовом гробу перевезли на родину и похоронили в Александро-Невской лавре.

# Михаил Юрьевич Лермонтов

*Нет, я не Байрон, я другой,  
Еще неведомый избранник,  
Как он, гонимый миром странник,  
Но только с русской душой.  
Я раньше начал, кончу ране,  
Мой ум немного совершит,  
В душе моей, как в океане,  
Надежд разбитых груз лежит.  
Кто может, океан угрюмый,  
Твои изведать тайны? Кто  
Толпе мои расскажет думы?  
Я – или Бог – или никто!*

Родился 3 (15) октября 1814 года в Москве.

Детские годы провел в имении бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в Тарханах (Пензенская губерния). Мать – Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, умерла в 1817 году от чахотки, хотя ходили слухи о добровольном ее отказе от жизни; с отцом тоже были связаны некие тайны: в 1811 году капитан Юрий Петрович Лермонтов вынужден был срочно оставить службу, одни говорили о картах, о нечестной игре, другие – о связи с неким тайным обществом. Распря между отцом и бабушкой, кто будет воспитывать ребенка, кон-

чилась тем, что Юрий Петрович навсегда уступил это право бабушке. Богатой Арсеньева себя не считала, но на образование внука деньги у нее находились. Языкам Мишель обучался у немки Христины Ремер и у француза-гувернера Капе, в прошлом сержанта наполеоновской армии. Мальчик рос забалованным, своенравным, вспыльчивым, полным странных фантазий. «Я рожден, чтобы целый мир был зритель торжества или гибели моей», – заявил он однажды. К тому же, природа не наделила его здоровьем; трижды – в 1818, 1820 и 1825 годах – бабушка возила его на Северный Кавказ лечить минеральными водами.

«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? – писал поэт в 1830 году. – Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано! Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал

ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату... Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видал... Горы кавказские для меня священны...»

Осенью 1827 года Арсеньевы переехали в Москву.

Историк и литератор А. З. Зиновьев и опытный педагог англичанин Виндсон превосходно подготовили Лермонтова к экзаменам: он сразу был зачислен в четвертый класс Университетского благородного пансиона. В библиотеке в то время по вечерам собирались члены литературного общества, которым руководил довольно известный поэт С. Е. Раич. Здесь Лермонтов увлекся рисованием и музыкой, хотя главным его увлечением уже тогда была поэзия. Трудно поверить, но уже в пансионе он набросал первый вариант поэмы «Демон», написал поэмы «Черкесы» и «Кавказский пленник».

Стать лучшим учеником мешал Лермонтову скверный характер. Однажды на экзамене был задан вопрос, на который воспитанник начал отвечать не совсем то, чего от него ждали. «Я вам этого не читал, – довольно резко прервал Лермонтова профессор. – И желал бы, чтобы вы отвечали мне именно то, чему я вас учил». – «Это правда, господин профессор, – ответил Лермонтов. – Того, что я вам сейчас говорю, вы нам не читали и не могли читать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я ведь пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем совре-

менным».

В марте 1830 года в Университетском благородном пансионе побывал царь Николай I. Он остался недоволен независимостью воспитанников. В результате последовал высочайший указ о преобразовании пансиона в казенную гимназию. Как многие воспитанники, Лермонтов не захотел продолжать образование в гимназии и получил свидетельство о том, что он «обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, похвальным поведением и с весьма хорошими успехами». Образование Лермонтов решил продолжить за границей, но этому категорически воспротивилась бабушка и он вынужден был подчиниться.

В 1830 году с Поволжья к Москве подступила холера. Занятия в Московском университете, куда поступил Лермонтов, на время прекратились. В стихах Лермонтова той поры часты всяческие упоминания смерти, народных бедствий, чумы и холеры. Только в январе 1831 года занятия в университете были возобновлены, но к этому времени Лермонтов к учебе сильно охладел, он был полностью занят сочинением поэмы «Измаил-Бей». В итоге ему посоветовали подать заявление об уходе, и в августе 1832 года поэт уехал в Петербург. Но в Петербургском университете Лермонтову отказались зачесть предметы, сданные в Москве. Не имея желания начинать учебу заново, в ноябре 1832 года Лермонтов, побо-

ров сопротивление бабушки, поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. «До сих пор я жил для литературной карьеры, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру, и вот теперь я – воин, – писал он в письме к своей знакомой. – Быть может, это особенная воля Провидения; быть может, это путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть приведет к последней цели всего существующего: умереть с пулей в груди – это стоит медленной агонии старика. Итак, если начнется война, клянусь Вам богом, что всегда буду впереди».

Светская красавица Вера Бухарина оставила впечатляющий портрет Лермонтова того времени. «Он, – писала Бухарина, – кончил учение в пансионе при Московском университете и, к большому отчаянию бабушки, упорно хочет стать военным и поступил в кавалерийскую школу подпрапорщиков. Однажды к нам приходит старая тетушка Арсеньева вся в слезах. „Батюшка мой, Николай Николаевич! – говорит она моему мужу. – Миша мой болен и лежит в лазарете школы гвардейских подпрапорщиков!“ Этот избалованный Миша был предметом обожания бедной бабушки, он последний и единственный отпрыск многочисленной семьи, которую бедная старуха видит угасающей постепенно. Она испытала несчастье потерять всех своих детей одного за другим. Ее младшая дочь мадам Лермонтова умерла последней в очень молодых годах, оставив единственного сына, который потому-то и превратился в предмет всей нежности и за-

боты бедной старушки. Она перенесла на него всю материнскую любовь и привязанность, какие были у нее к своим детям. Мой муж обещал доброй почтенной тетушке немедленно навестить больного юношу в госпитале школы гвардейских подпрапорщиков и поручить его заботам врача.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.